

Александр ОРЛОВ

Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 им. И. П. Павлова, Литературный институт им. А.М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории, обществознания, основ философии и права в столичной школе.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Бийский вестник», «День и ночь», «Дети Ра», «Дон», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Наш современник», «Подъем», «Сибирь», «Сибирские огни», «Юность». Автор сборников поэзии и прозы и книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси».

Лауреат всероссийских премий имени А.П. Платонова (2011), Ф.Н. Глинки (2012), С.С. Бехтеева (2014), Н.С. Лескова (2019), Д.Н. Мамина-Сибиряка (2020) и других, обладатель «Золотого Витязя», а также специального приза Издательского совета РПЦ «Дорога к храму» (2017).

Живет в Москве.

КРОВНЫЙ ИЗВЕТ

Бабушка часто засиживалась у телевизора, время от времени вступая с ним в односторонний диалог. Особенно ее беспокоила политика президента США Барака Обамы, он стал ей ненавистен за все время своего президентства до чрезвычайности и вызывал приступы агрессии и домоседской ругани. Увидев, что я открыл дверь в комнату, она сразу спросила:

– У нас атомная бомба есть?

– Есть! – ответил я.

– Тогда почему мы ее еще на Америку не скинули? Ты посмотри: Обамка чего только не вытворяет! И видно, что от непутевой родился, нормальная бы мать разве Бараком назвала? – причитала бабушка. – И так Господь обидел! Ведь черненьким родился! А все туда же... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, чего только он вытворяет и там и сям, и везде война, он-то ее отродясь не видывал, а туда же. Вот что я скажу! Он не только кожей, но и душой черный. Да-да, так бывает, это у кого сатана внутри сидит, а у него все наружу вылезло. Вот и люди бывают с черной душой, как родня моя поволжская, как тетка моя Мария, мамина родная сестра... Вот она все время к нам ездила. Вот какая зависть была, а родные. Завидовать-то чему было? Нам комнату дали в коммуналке до получения очереди. Магазины кругом, парк... Разве это

жизнь – в коммуналке... Но мы жили как одна семья, и разбегаться я не захотела, а жило нас пятнадцать человек, у каждого был банный день, по семьям было распределено дежурство по уборке. Все время по неделям делили. Шесть человек в семье – значит, шесть недель дежурства, три – значит, три недели, один – значит, одна. Вот муж мой Вася, отчим матери твоей, чистил ванну, мастикой натирал полы, раковины вычищал, а мы – плиту...

И в Москву к нам сын ее ездил Анатолий, только все денег у меня запрашивал, такой непутевый, клянчил и клянчил. Мы все с юных лет девочек наших с ним боялись оставлять. Его все знали, он же по женской линии неумный был. Одним словом, нахал. Отец его умер. На фронте папаша его не был, всю войну валенки валял. Может, болезнь была какая, может, сговорился с кем из начальства, только в войну они хорошо жили, не голодали, как мы. А потом Мария и забеременела, только вот от кого? Бабка моя Аксинья как посмотрела на внука, так и сказала: выродок. С чего взяла, не понять, да только она молилась всегда и постные дни все соблюдала, поэтому у нас говорили, что у нее третий глаз между бровей. Слух ходил, что Мария то ли от венгра пленного нажила, то ли от оперуполномоченного из НКВД, что батюшку в колодце утопил. В общем, было непонятно почему, да Только так и звали между собой и все, кто знал, – выродок. Как ни приедет, живет и живет. А как не пустишь – родня, как выгонишь – кровь как-никак, а как только он уедет, так Мария сама пожалует. Жили-то подолгу, я всех кормила и денег на обратную дорогу давала. Шло время, так они к нам и приезжали, и жили мы в одной комнате: я, мама, твоя мама и мой муж с родней. Но случилось, что Мария с просьбой обратилась: хотела дочь свою Шурку, сестру мою двоюродную, на работу устроить. Мария прознала, когда я работаю на рынке, в какую смену, приехала с Шуркой и стала меня просить помочь с работой на рынке. Я ей и говорю: меня только устроили, как я могу просить за тебя? Кто я такая? Так они и уехали.

Прошло месяца два или три, и как раз на Страстной неделе вызывает к себе директор Андрей Яковлевич и говорит: «Тамара, садись. Сейчас я тебе новость скажу». И подает мне письмо. Смотрит внимательно и говорит: «Читай». Я читаю и сижу вся красная от стыда. Слезы того и гляди ручьями польются. Я и говорю: «Андрей Яковлевич, я этого не делала». Он строго так: «Кто они тебе?» Отвечаю: «Родные». Он: «Вот что я тебе скажу, девка, враги эти родные твои, самые что открытые. Зависть их уже сожгла. Бумагу эту при мне разорви и сожги, вот тебе спички, и молчок». Я в слезах вся, заявление в мелкие клочки разорвала и подожгла. И оно вместе с дымом исчезло. Он мне налил стакан воды. Я выпила. В себя пришла и говорю ему: «Андрей Яковлевич, а почему вы мне помогаете?»

А он: «Ты у меня ударница, таких, как ты, из московских кладовщиков только два, сама знаешь результаты соцсоревнований. Знаю, как ты за мамой ухаживаешь, как к Пасхе ей все самое лучшее из еды готовишь. Да и неделя Страстная кончается, вот себя вся нечистая сила и выявляет, а еще мы с тобой в святом месте работаем, как здесь твоему горю не помочь? Ничего ты обо мне не знаешь, чтобы я да хорошего человека за просто так на разрыв отдал, а что твоя родня состряпала, так там и на срок можно угодить, сейчас сама знаешь, очередная борьба за чистоту рядов. Таким подлостям в моем роду никто не обучен».

Я в недоумении смотрю на него, глазами хлоп да хлоп и не знаю, что и сказать, думаю, молчать надо, потом отважилась: «А в каком таком

святом? Что на рынке у нас святое? Коллектив? Так у нас друг на друга донести стараются не в милицию – так начальству, все жить хотят, устроиться, семьи прокормить, оно и понятно, так что здесь святого? В рынке-то?»

Он заулыбался, налил мне чая, конфет достал «Мишек» и говорит: «Это, девонька, рынок, он как мир, поэтому сейчас рынок, а ранее был монастырь. Вот как наш рынок называется?» Я ему и отвечаю: «Преображенский». «Ну и что?» – спрашивает он. «Ну и ничего, вы не думайте, я не дура, но я правда не понимаю», – говорю ему.

«Эх ты! Волжанка! Название рынок наш взял от Преображенского монастыря, а монастырь – от праздника Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Но жили на этом месте старообрядцы. Это были старoverы-беспоповцы федосеевского согласия. Во время чумы в Преображенском ухаживали за больными, здесь, на кладбище, хоронили умерших. Потом на этом месте появились зажиточные старообрядцы, и со временем владение общины разделили на мужской и женский двор. Фактически здесь появились два монастыря. Перед революцией здесь работали школа, типография, иконописная мастерская, больница. В двадцатые монастырь закрыли, а Успенский храм большевики передали обновленцам, потом и рынок появился. Пусть безбожники рынок устроили, а место все равно веками намоленное, поэтому в войну оно и спасало. Народ мог все что угодно здесь раздобыть, одежду, ценные вещи на еду обменять. Понимаешь?» – спрашивает.

«Понимаю», – отвечаю ему. «Так вот, отец мой был старообрядцем и все родственники. Жил папа в поселке Куровское, которое поселком-то стало называться после революции, и только из-за того, что в нем находилась фабрика, ранее фабрикантам Балашовым принадлежала. Раньше Куровское относилось к Гуслицкой волости, прозванной Старообрядческой Палестиной. Меня на наш рынок, когда он еще монастырем был, отец привозил. Я маленький совсем был, а помню, какая обитель была. Когда хожу по рынку, сердце кровью обливается. Мы сюда и с отцом Архипом приезжали, моим духовником, когда уже стены эти служили складами, как и сейчас. Смотреть было больно, и сейчас в ужас порой прихожу, когда по торговым рядам иду, в помещения складские наведываюсь. Раньше монахов здесь и богомольцев только и встретишь, а сейчас весь Советский Союз, нехристи одни да перекупщики». Я возьми Андрею Яковлевичу и скажи: «Вы даже с батюшками приезжали?» Он в ответ: «Конечно, и отца Архипа до последнего дня вспоминать буду. Он служить у нас начал, когда я уже в школе учился, он к нам из-под Павлова Посада приехал, точнее сказать, вернулся, он, как и я, из гусяков-старообрядцев. Службы у него особенные были, мне на них казалось, что я от земли отрываюсь. Но было так недолго, осенью 1937 отца Архипа Азарнова и человек двадцать с ним арестовали. Нас всех тогда от мала до велика вызывали на допросы. Я эти визиты к следователю да приезды оперуполномоченных на всю жизнь запомнил. Только не ненависть они во мне возжигали, а сердечность, жалко мне было всех: и тех, кого увозили, и тех, кто увозил. Словно суд небесный вершился. Первые в муках к Богу возносились, вторые оставались жить в огненном страхе. А что потом? Годы в хворях, плач, скрежет зубов и тьма кромешная. Так и нашего батюшку Архипа Давидовича и с ним несколько человек расстреляли на спецобъектах “Бутово” и “Коммунарка”, а некоторым срока дали. Но когда я жил в Москве и приезжал к родителям, стало известно, что в конце пятидесятых

реабилитировали наших гусяков решением Московского областного суда, только кому от этого легче. Всем и тогда было понятно, что нет никакой антисоветской организации, а есть наша молельня. Вина у нас с ними общая, каждый из нас ее знает, мне говорили, что в делах так и было написано в графе “вина” – старообрядец».

Он задумался и тихо напел:

В те времена укромные, теперь почти былинные,
Когда срока огромные брели в этапы длинные...

Потом продолжил: «Отца моего тоже забирали за то, что молились мы дома всей семьей, когда уже больше нигде было. Когда все молельни в Гуслицком краю позакрывали, так мы все время, пока отца не было, молились, поочередно, непрестанно. И свершилось чудо – не посадили, отпустили папу. Но из дома выселили, дом, дедом еще построенный и отцом обновленный, по бревнышку разобрали, мы жили в бане у соседей, потом в пустом погребке, зимой холодрыга такая, что зуб на зуб не попадал. Ничего! – рассмеялся Андрей Яковлевич. – Как видишь, все живы, Господь хранил семейство Петровых. Потом мне бараки раем казались, как там у Высоцкого?»

Все жили вровень, скромно так: система коридорная,
На тридцать восемь комнаток всего одна уборная.
Здесь зуб на зуб не попадал, не грела телогреечка.
Здесь я доподлинно узнал, почем она, копеечка...»

Он все говорил и говорил, а я все сказать слово боялась. Боялась, потому как знала, что дома у меня и ты, и Ира, и мама еще жива была, и думала: скажу хоть слово – кто узнает, ведь посадят и разбираться не станут. Так весь вечер мы с ним и проговорили.

Вернулась я домой, рассказала все маме. Она уже тогда при смерти была.

Прошло месяца три, и Мария к нам все равно приехала погостить, узнать, как дела, а мама моя и говорит: «Гони ее! Креста на ней нет!»

Сколько себя помню, всегда я маму слушала, так и сделала. Все, что можно, услышала: и проклятия, и слова самые расхожие, и много чего еще. Плакала потом, а мама и говорит: «Не плачь, прости им все». Я ей в ответ: «Как простить? Мама, как же это?» А она мне: «Возьми и прости, их судьба не наше дело, Господь Сам все устроит, каждому воздаст, а ты сердце от горечи очисти, прости».

Я так и сделала! Маме слово дала, а как не сдержать, мать – оно самое святое, что есть, все мы из ее чрева выходим на свет Божий сквозь муки.